

Палимпсест

Пелагия Громова

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Пелагия Гроомова

Палимпсест

«Автор»

2026

Гроонова П.

Палимпсест / П. Гроонова — «Автор», 2026

«Палимпсест» — цикл рассказов о тех, кто сидит за соседним столом. О тех, кто носит пятна, которые не отмываются спиртом. О кружках, которые знают больше, чем их владельцы. О тишине, которая звучит громче любого крика. Откройте дверь офиса. За ней — театр, где каждый играет свою лучшую роль. И ни одна не написана до конца.

© Гроонова П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Фермата	5
Химия	10
Вероника	13
Сабыр (Гульнара)	17
Иду (Борис)	22
А parte (Зинаида Павловна Берг)	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Пелагия Громова

Палимпсест

Фермата

Она открыла дверь в квартиру, включила свет, и её как всегда встретила его фотография. Большой портрет в деревянной раме висел в прихожей, прямо напротив входа, и каждый вечер он смотрел на неё со стены — чуть прищурившись, с лёгкой улыбкой, которую она помнила наизусть. Марья Львовна сняла пальто — серое, немаркое, купленное пять лет назад в дешёвом универмаге, — повесила на крючок. В прихожей пахло одиночеством: пылью, старыми обоями и едва уловимым запахом её вчерашнего чая. Она поправила волосы перед зеркалом — светлые, чуть ниже плеч, уложенные волосок к волоску, с загнутыми внутрь концами, — и лишь потом позволила себе поднять глаза.

— Здравствуйте, — сказала она тихо. — Я вернулась.

Фотография молчала. Это был мужчина лет шестидесяти, с крупными чертами лица, глубокими залысинами и седыми висками, которые делали его похожим на старого актёра. Глаза — тёмные, живые, с прищуром, какой бывает у близоруких людей, когда они хотят разглядеть собеседника получше. Он сидел в кресле, положив ногу на ногу, и держал раскрытую книгу, но взгляд его был направлен не в страницы, а куда-то вбок, словно он только что отвлёкся на чей-то голос. На нём был твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях — такие пиджаки она видела только у него и больше ни у кого.

Марья Львовна прошла в комнату — тесную, заставленную старой мебелью, которую она забрала когда-то из квартиры покойной матери. Диван с протёртыми подлокотниками, сервант с одинокой фарфоровой чашкой, стол у окна. В углу стояло старое пианино — «Красный Октябрь», ещё довоенное, с пожелтевшими клавишами и чуть дребезжащим верхним регистром. Мать когда-то училась музыке, а Марья Львовна после её смерти не могла заставить себя продать инструмент. Теперь она подходила к нему только по вечерам, когда становилось совсем невмоготу.

Она включила чайник — старый, ещё советский, с облупившейся эмалью — и села на краешек стула. За окном темнел ноябрь. Где-то далеко шумела электричка. В доме напротив зажигались окна — чужие жизни, чужие ужины, чьи-то голоса, доносящиеся до неё приглушённым гулом. Ей сорок восемь лет. У неё нет никого. Телефон молчит неделями, если не считать служебных сообщений. Вечерами она пьёт чай без сахара, ест бутерброд с маслом и смотрит в стену, где висят его фотографии — не только в рамке, но и маленькие, вырезанные из старых журналов, приклеенные на картонки. Она сидит в тишине, нарушаемой только тиканьем часов, и этой тишины так много, что иногда ей кажется — она слышит, как растёт её седой волос.

Она открыла ноутбук, проверила рабочую почту: «Уважаемая Марья Львовна, напомним о необходимости сдать отчёт за третий квартал» — и захлопнула крышку. Не сейчас. Вместо этого она подошла к серванту, достала папку с газетными вырезками, перебрала пожелтевшие листы. Академик Стрельцов о будущем квантовой физики», «Новые горизонты науки», «Учёный с мировым именем». Она знала каждое слово наизусть, но всё равно перечитывала — чтобы услышать его голос в своей голове.

Потом, когда чай был выпит, а бутерброд съеден, она подошла к пианино. Подняла крышку, провела пальцами по холодным клавишам. Она играла всегда одно и то же — Элегию Рахманинова, ми-бемоль минор. Медленная, тёмная, бесконечно грустная. И каждый раз,

когда доходила до ферматы в конце первой части, она замирала. Держала аккорд, слушала, как звук дрожит, истончается, тает в воздухе — и не снимала пальцев. Эта пауза, это зависание над бездной было самым честным, что с ней случилось за день. Фермата — остановка, продление, неопределённость. Её жизнь. Всё, что было после той лекции.

Она закрыла пианино, вытерла руки платком и подошла к фотографии в прихожей — поправить рамку, сказать несколько слов.

На работе её почти не замечали. Она пришла в этот офис около года назад — тихая женщина неопределённого возраста, в серых юбках, белых блузках и туфлях на низком каблучке. Блондинка с красиво уложенными волосами, всегда аккуратно завитыми внутрь, как носили в провинции. Большие светло-голубые глаза смотрели на мир с выражением спокойной отстранённости — коллеги называли это рыбьим взглядом» и быстро перестали обращать внимание. Она сидела в углу общего зала, за перегородкой, перебирала бумаги, подшивала ведомости и никогда не вступала в споры. Если кто-то спрашивал её мнения, она отвечала коротко и тихо: «Я думаю, как решит руководство». Её имя — Марья Львовна — вспоминали только в день зарплаты и когда нужно было передать кому-то ненужный документ. Она была прозрачной. Серой мышью, которая не оставляет следов. Никто не знал, что у неё нет ни друзей, ни родных, ни прошлого. Что по вечерам она не звонит никому и никто не звонит ей. Что в её квартире стоит мёртвая тишина, и только фотография мужчины на стене — единственное доказательство того, что она вообще умеет чувствовать.

Именно этого она и добивалась.

Только одна деталь могла бы насторожить внимательного наблюдателя, но внимательных в этом офисе не водилось: её глаза иногда задерживались на дверях кабинета Вероники Аркадьевны чуть дольше необходимого. Вероника Аркадьевна — вдова, дама с трагической биографией и безупречным вкусом — проходила мимо неё по коридору, и Марья Львовна вжималась в стул, опускала голову, но взгляд её в эти секунды становился острым, почти голодным. Никто не связывал их вместе. Никто не знал.

А знать следовало бы. Потому что Марья Львовна не всегда была Марьей Львовной, блондинкой из бухгалтерии. Когда-то она носила другую фамилию, тёмные волосы и работала в НИИ, который возглавлял он — академик Стрельцов.

Она увидела его впервые, когда ей было двадцать. Весенний день, аудитория в старом здании университета, запах мела и мокрых плащей. Она пришла на открытую лекцию по физике, потому что подруга попросила занять место, а сама не явилась. Марья сидела на галёрке, слушала и рисовала цветочки в тетради. И вдруг в зал вошёл он.

Высокий, широкоплечий, с седеющей головой и лицом, которое казалось высеченным из камня — крупный нос, тяжёлый подбородок, но при этом тонкие, почти изящные губы. Ему было около сорока пяти, он находился в том возрасте, когда мужская зрелость уже граничит с началом увядания, но ещё полна силы. На нём был твидовый пиджак с кожаными заплатками — она запомнила эти заплатки на всю жизнь. Он подошёл к кафедре, положил руки на деревянную трибуну, обвёл зал спокойным взглядом и начал говорить.

Голос. Вот что её убило. Низкий, обволакивающий, с лёгкой хрипотцой и каким-то особенным ритмом — он не вещал, он беседовал, даже когда говорил о квантовых состояниях. Каждое слово падало в тишину зала, как камень в воду, и расходилось кругами. Никаких микрофонов тогда не ставили, но его голос был поставлен так, что слышно было до последнего ряда. Марья перестала дышать. Она сидела, вцепившись в край скамьи, и чувствовала, как внутри что-то ломается — или, наоборот, встаёт на место. Лекция закончилась через полтора часа. Она вышла из аудитории другим человеком.

С того дня её жизнь превратилась в служение.

Она узнала о нём всё: где преподаёт, в каком НИИ работает, кто его жена. Жена оказалась женщиной редкой, холодной красоты — высокая, с длинной шеей и манерами, от которых

веяло старым дворянством. У неё были пепельные волосы, светлые, с дымчатым отливом, как туман над осенним полем, и она носила их распущенными или собранными в низкий узел, открывавший точеную линию скул. Кожа — бледная, матовая, будто фарфор, на котором не задерживается румянец. Глаза — тёмные, глубокие, с поволокой, как у женщины, которая знает себе цену и давно привыкла к восхищению. Она одевалась в платья из натурального шёлка, серые или жемчужные, струящиеся, с мягкими складками, и всегда носила тонкий аромат — дымный, амбровый, с горьковатой нежностью ириса и тёмной розы. Марья не знала названия этих духов, но запах преследовал её в коридорах института, как тень, как напоминание, что есть вещи, которые ей никогда не будут принадлежать. Мужчины в институте сворачивали шеи, когда она проходила мимо. Но самое страшное — он её любил. Это было видно по тому, как он смотрел на неё, когда она заходила в кабинет. По тому, как он произносил её имя — Вероника. По тому, как он, забывшись, касался её руки во время учёных советов.

Марья возненавидела её сразу, но эта ненависть была пропитана восхищением. Она понимала: соперничать с этой женщиной бессмысленно. Но попыток не оставила.

Она выучилась на секретаря-референта, получила диплом, обила пороги, прошла три собеседования и наконец добилась должности в его приёмной. Академик Стрельцов принял её приветливо, но без личного интереса. Для него она была одной из многих — исполнительницей, тихой, незаметной. Она же расцветала каждый раз, когда он просил принести кофе. Кофе она варила особенный: покупала дорогие сорта, колдовала над туркой, добавляла шепотку корицы — он однажды похвалил, сказав вкусно», и это слово она повторяла перед сном. Она знала его расписание, его привычки, его любимую марку ручек и то, что он не выносит запаха табака. Она была идеальным секретарём. Он этого не замечал — он вообще редко замечал тех, кто не входил в его личный круг.

Иногда она позволяла себе мечтать. Что он вдруг поднимет глаза, увидит её — не серую мышку, а женщину с преданным сердцем — и что-то дрогнет. Но он продолжал любить свою жену. Двадцать лет, до самой смерти.

Собственной личной жизни у Марьи не случилось. Мужчины смотрели сквозь неё — и в юности, и позже. Она не умела кокетничать, не умела смеяться нужным тоном, не носила яркой одежды. Один раз её пригласили в кино — сослуживец из отдела кадров, тихий очкарик, похожий на неё саму. Она согласилась от отчаяния, но весь сеанс думала об академике, а когда очкарик попытался взять её за руку, отдернула ладонь так резко, что он обиделся и больше не подходил. Детей у неё не было. Родители умерли рано. К сорока восьми годам она осталась одна — без подруг, без родственников, без собаки, без кота

Одиночество — это когда ты возвращаешься домой, и тебя никто не встречает. Когда ты варишь одну сосиску, потому что не имеет смысла варить две. Когда ты стираешь постельное бельё раз в месяц, потому что никто не видит, какое оно. Когда ты разговариваешь с фотографией и знаешь, что она не ответит. Когда наступает пятница, и ты не отличаешь её от понедельника, потому что тебе некуда идти. Когда телефон молчит так долго, что ты проверяешь, не сломался ли он. Когда ты идёшь по улице и понимаешь: исчезни ты сегодня — никто не заметит до тех пор, пока на работе не накопится несданный отчёт.

Смерть академика наступила внезапно. Ему было шестьдесят семь, сердце. В тот день он работал в кабинете, Марья принесла ему документы на подпись. Он был бледен, жаловался на усталость. Она спросила, не вызвать ли врача. Он отмахнулся: Пустяки, Марьюшка, сейчас пройдёт». И она ушла. Ушла, хотя видела — у него на виске бьётся жилка, а губы синеют. У неё в столе лежал нитроглицерин, она знала, где он лежит. Она могла вызвать скорую, настоять, закричать, упасть в обморок — сделать хоть что-то. Но она стояла в коридоре, прижимая к груди папку, и думала о том, что за стеной остывает чай у его жены. Думала о том, как та улыбалась сегодня утром, когда входила в институт. О том, как её пепельные волосы блестели в свете ламп. И Марья Львовна — тогда ещё не Марья Львовна, а Мария Валерьевна с тёмными

волосами — просто повернулась и ушла в приёмную. Через час его нашли на полу у стеллажа с книгами.

Она не спасла его. Осознанно? Она сама не знала. Она говорила себе потом, что испугалась, что не подумала, что это был её единственный шанс но в глубине души понимала: она позволила ему умереть. Потому что хотела, чтобы Вероника страдала. Чтобы эта женщина, у которой было всё — красота, любовь, обожание, — потеряла самое главное. Так же, как сама Марья потеряла свою единственную любовь ещё в двадцать лет, когда впервые услышала его голос.

После похорон она уволилась. Исчезла. Сменила фамилию на девичью — Марья Львовна Бровкина. Перекрасилась в блондинку. Сменила причёску, гардероб, манеру держаться. Она стёрла ту Марию Валерьевну, как стирают с доски формулу. Пять лет она прожила в другом городе, работала в архиве, спала на съёмной кровати и каждый вечер разговаривала с фотографией, которую забрала из института. А потом вернулась в Москву и устроилась в этот офис — туда, где работала она.

Вероника Аркадьевна Стрельцова, вдова академика.

Вероника Аркадьевна постарела, но не потеряла своей породы — та же прямая спина, те же платья из натурального шёлка. Её некогда пепельные волосы теперь стали короткими и очень светлыми, почти белыми, с пепельным отливом, и она не закрашивала пробивающуюся седину — это придавало ей вид благородный, почти царственный. Она до сих пор носила траур — не по этикету, а внутренний, выразившийся в тёмных тонах, в поджатых губах, в том, как она отводила глаза, когда кто-то случайно упоминал покойного мужа. Марья Львовна наблюдала за ней из своего угла. Иногда ей казалось, что Вероника Аркадьевна чувствует на себе этот взгляд — она вдруг оборачивалась, хмурилась, но видела лишь безликую блондинку за перегородкой, склонённую над отчётами. И успокаивалась.

Марья Львовна не знала, зачем она здесь. Месть? Какая мечь может быть у серой мыши? Она не собиралась вредить Веронике Аркадьевне. Скорее, ей нужно было убедиться, что та страдает. Что вдова не вышла замуж, не забыла, не стёрла память. Что её жизнь — остывший чай. И видя тёмные круги под её глазами, Марья Львовна испытывала что-то похожее на удовлетворение. Покойся с миром, академик.

Однажды в кухне офиса они столкнулись лицом к лицу. Вероника Аркадьевна взяла свою кружку — белую с синими полосками, как матроска, — подошла к кулеру, и Марья Львовна оказалась рядом. Их глаза встретились. Голубые — в тёмные. Вероника Аркадьевна на мгновение задержала взгляд, словно пытаясь что-то вспомнить.

— Мы с вами раньше не встречались? — спросила она, слегка наклонив голову.

Марья Львовна опустила ресницы. Сердце стучало где-то в горле.

— Вряд ли, — ответила она тихо. — Я лицо не запоминающееся.

Вероника Аркадьевна кивнула и отошла. А Марья Львовна ещё долго стояла с кружкой в руке, чувствуя, как дрожат пальцы.

Вечером она снова открыла дверь, включила свет, и он встретил её взглядом. Твидовый пиджак, седые виски, лёгкая улыбка. Она подошла ближе, поправила рамку — ей показалось, что фотография немного покосилась.

— Я сегодня видела её, — сказала она. — Она всё ещё носит твой цвет. А волосы стали как дым. Ты бы ею гордился. Она красивая. Очень красивая. Но она тебя потеряла. А я — никогда. Ты мой. Ты всегда будешь мой

Фотография молчала. Марья Львовна вздохнула, сняла туфли, прошла в комнату и села на диван. Одиночество сгущалось, как всегда по вечерам. Но в нём была тайная сладость — потому что она знала: он принадлежит ей хотя бы в этом молчании. Никто его у неё не отнимет. Даже Вероника Аркадьевна, которая когда-то была его женой, а теперь даже не знает, кто сидит напротив неё в офисе.

Она открыла ноутбук, нашла в сохранённых файлах старую лекцию — единственную запись, которую ей удалось раздобыть. Голос наполнил комнату, низкий, с лёгкой хрипотцой. Она закрыла глаза и представила, что ей снова двадцать, что она на галёрке, а он смотрит прямо на неё и говорит о квантовой запутанности так, будто объясняется в любви. И на мгновение ей показалось, что жизнь удалась.

Она подошла к зеркалу. Из глубины стекла на неё глянула блондинка с красиво уложенными волосами, в серой блузке, с большими светло-голубыми глазами — очень красивыми глазами, яркими, как летнее небо. Глазами, в которых стояла вся боль и вся любовь её никчёмной, пустой, никому не нужной жизни. Она поправила светлую прядь и улыбнулась — жалкой, кривой улыбкой женщины, которая привыкла улыбаться только самой себе.

— Ну и пусть, — сказала она своему отражению. — Пусть. Зато он мой.

А на следующий день Хваткин пришёл на работу с пятном на воротнике, и в пятне этом была розовая помада. Марья Львовна заметила пятно раньше всех — она вообще многое замечала. И когда в коридоре Агриппина Святославовна заперлась с Хваткиным в кабинете, Марья Львовна сидела за своей перегородкой и думала: Все мы что-то скрываем. Все мы носим пятна, которые не отмываются спиртом. И в этом была единственная правда, которую она знала.

Химия

В понедельник Хваткин пришёл на работу с пятном на воротнике.

Это было не супное пятно — супные я знала наизусть, они располагались на уровне груди и имели характерный жёлтый оттенок. Это было другое пятно — розоватое, бледное, почти интимное. След помады. Женщина прижималась щекой к его плечу, и я сразу поняла: не жена. Жена Хваткина, если верить Элеоноре Аркадьевне, красила губы только по праздникам, а понедельник — не праздник.

Весь день он был сам не свой. Не кричал на коллег. Не поправлял чужие отчёты. Не писал Веронике Аркадьевне писем с оборотами «в свете вышеизложенного». Он просто сидел, уставившись в монитор, и каждые полчаса хватался за телефон. А когда телефон вибрировал, его лицо менялось — на секунду становилось мягким, почти счастливым, а потом снова гасло.

Я не собиралась ничего говорить. Но когда в пятый раз за день он принялся тереть воротник розовой салфеткой, слова выскочили сами:

— Иван Николаевич, помада спиртом отмывается. Проверено.

Он замер.

Я улыбнулась. Это была шутка. Глупая, безобидная — ну правда, кто мог покуситься на Хваткина? Сурикат, душнила, человек, который ест суп из трёхэтажного контейнера и пахнет ванилью?

Но он не улыбнулся в ответ. Он вдруг опустил на стул, снял очки и закрыл лицо ладонями. Плечи задрожали.

— Агриппина Святославовна... — голос был глухой, чужой. — Закройте дверь. Пожалуйста.

Я закрыла. Села напротив. Вытянула ноги в зелёных замшевых ботинках и приготовилась слушать.

Он долго не начинал. Сидел, комкая в пальцах розовую салфетку. Я терпеливо ждала. За стеной гудел ксерокс, где-то далеко Элеонора Аркадьевна обсуждала новый оттенок пайеток, а Геннадий Павлович «вжикал» вельветом по коридору — но здесь, в моём кабинете, время остановилось.

— Вы когда-нибудь боялись идти домой? — спросил он вдруг, не поднимая глаз.

Я молчала.

— Не так, чтобы кто-то бил. А так — открываешь дверь, а там всё то же. Те же слова, тот же запах, тот же борщ. И ты идёшь в туалет, запираешься и сидишь полчаса. Потому что только там тихо. — Он поднял на меня глаза — красные, воспалённые, без очков совершенно беззащитные. — Я так живу уже лет пять. Может, больше. Не знаю, когда началось. Может, когда Лариса сказала, что я безрукий. Может, когда тёща назвала быдлом. А может, когда я защитил диссертацию, а дома сказали: «Ну наконец-то, мы уж думали, ты никогда не закончишь».

Он замолчал. Салфетка в его пальцах превратилась в розовый комок.

— А потом появилась Ася.

Он сказал это, и голос его изменился — стал мягче, но не расслабленно, а как-то испуганно-мягко.

— Я зашёл в книжный на Арбате, мне нужна была монография по квантовой физике. Стоял у стеллажа, листал страницы, и вдруг услышал:

«Вы Хваткин?»

Поднял голову. Девушка. Молодая совсем, светлые волосы собраны в косу, белое платье с каким-то кружевом. Я её сначала даже не разглядел — свет из окна бил в глаза. Она подошла и говорит:

«Я вашу статью читала. Про квантовую запутанность. Ничего не поняла, если честно, но у вас такой язык... как будто стихи».

Я чуть книгу не выронил. Стихи! Про квантовую физику. Я стоял и молчал как идиот, а она улыбалась. И улыбка у неё была такая открытая, что у меня внутри что-то щёлкнуло. Как будто включили рубильник.

Он снял очки и протёр их. Руки дрожали.

— Ей двадцать. Она учится на искусствоведа, подрабатывает в книжном. Любит Ван Гога и шоколадное мороженое. Она младше меня на двадцать лет. Понимаете? Двадцать. Когда я диплом писал, она ещё пешком под стол ходила. И она смотрит на меня так, будто я — подарок. Я. Иван Хваткин. Который пахнет ванилью и ест борщ. Для неё я — подарок.

Он замолчал надолго. Я смотрела на его побелевшие пальцы, сжимавшие край стола.

— Мы стали встречаться. Сначала просто гуляли. Она показывала мне свою Москву — я, оказывается, никогда её не видел. Переулки, дворы, старые особняки. Она рассказывала про художников, а я смотрел на неё и не слышал ни слова. Просто смотрел. Один раз сидели в Нескучном саду, май, сирень уже лезла через ограду. Она вдруг замолчала и посмотрела на меня. И я поцеловал её. Первый раз в жизни первый поцеловал женщину. Даже Ларису когда-то — она сама.

Он замолчал. Я ждала.

— Она сказала: «Я рада, что ты есть». Не «ждала всю жизнь», не «люблю до гроба» — просто «рада, что ты есть». И это было... лучше всего, что мне говорили за сорок лет.

Он резко встал, подошёл к окну, но я видела — он не смотрит на улицу. Он был не здесь.

— Первая ночь. Я сказал Ларисе, что еду на конференцию в Дубну. Врал. Никогда раньше не врал, а тут стоял в прихожей с чемоданом и врал. Лариса обрадовалась — сказала, что без меня отдохнёт от борща, что тёща как раз хотела приехать, они вдвоём в театр сходят. И я ушёл.

У Аси квартира на Преображенке, мансарда под крышей. Там низкий потолок, я всё время бился головой о балку, и она смеялась. На подоконнике — фиалки, на стенах — её рисунки. Она рисует, знаете... не очень хорошо, но старается. В тот вечер испекла яблочный пирог. Я однажды сказал, что люблю яблочный пирог, а она запомнила. Испекла, а корочка подгорела. Она расстроилась, а я ел и говорил, что вкусно.

Мы сидели на старом диване, ели этот пирог, и она читала мне Блока. «О доблестях, о подвигах, о славе». А потом просто положила голову мне на плечо и уснула. И я сидел и думал: вот так бы каждый вечер.

Он повернулся ко мне. Лицо было бледным, щёки мокрые.

— Утром нужно было возвращаться. К Ларисе. К тёще. К борщу. Я лежал, смотрел на фиалки и понимал: я преступник. Я вру. Я изменил. Но Ася спала рядом, уткнувшись носом в моё плечо, и её волосы пахли чем-то лёгким, как дождь. И мне было всё равно. Понимаете? Всё равно.

— А что Лариса? — спросила я. Не осуждающе, просто чтобы он продолжил.

— Лариса... — он вздохнул. — Она не плохая. Не думайте. Когда мы только поженились, она смеялась иначе. А потом что-то сломалось. Может, я сломался, а она следом. В прошлом году у меня был день рождения, она испекла торт и перепутала сахар с солью. Мы сидели на кухне, ели этот солёный торт и смеялись. Она тогда губы накрасила. Последний раз.

Он замолчал. Я видела, как ему трудно.

— У нас дети. Таня и Миша. Таня рисует луга, Миша сидит у меня на голове и хохочет. Они меня любят. И если я уйду, Лариса им скажет: «Папа нас бросил». И они поверят. А Ася ждёт. Говорит: «Я подожду, сколько нужно». Но позавчера сказала: «Если до Нового года не решишься, я не смогу. Я не могу вечно ждать». Ей двадцать лет, она имеет право не ждать.

Он опустил обратно на стул и закрыл лицо руками.

— Вчера я был у неё. Сказал Ларисе, что задержусь на работе. Опять соврал. Ася обняла меня на прощанье, прижалась щекой к плечу — вот, пятно осталось. Утром я его увидел и понял: ещё немного, и всё рухнет. Лариса заметит. Тёща заметит. И я не знаю, что делать. Я трус. Я не гений. Я никто.

Я встала, подошла к кулеру, набрала два стаканчика воды. Один поставила перед Хваткиным. Он не притронулся.

— Иван Николаевич, — сказала я. — Вы не никто. Но вы запутались.

— И что мне делать?

Я хотела сказать: «Сознайтесь». Или: «Уходите к Асе». Или ещё какую-нибудь глупость, которую говорят в таких случаях. Но я не священник. Я списанный петух в зелёных ботинках. И я не знаю, что ему делать.

— Я не знаю, — сказала я. — Но вот что: вы сейчас пойдёте и пообедаете. Не супом из контейнера. Стейк закажите. С кровью. Без розмарина. Просто стейк. И съешьте его. Один. Потом купите себе что-нибудь. Что вам нравится, а не что положено. Это первый шаг.

— И всё? — он поднял брови.

— Всё. Больше ничего умного у меня нет. Остальное — сами. Когда-нибудь.

Он долго молчал. Потом надел очки. Встал. Поправил воротник — пятно так и осталось.

Я достала из ящика стола спиртовую салфетку — у меня всегда есть, потому что чужие пирожки иначе не отмыть, — и протянула ему.

— Вот. Аккуратнее, Иван Николаевич. И внимательнее. Хотя бы пока не решили, что дальше.

Он взял салфетку. Посмотрел на неё.

— Странная вы, Агриппина. Всех презираете, а говорите так, будто понимаете.

— Я и понимаю. Я списанный петух. Я знаю, каково это — когда тебя не слышат. И я знаю, каково это — когда ты сам себя не слышишь. Идите, Иван Николаевич. Съешьте стейк. И подумайте. Просто подумайте.

Он кивнул. Медленно, но твёрдо. И вышел.

Вечером, надевая зелёные замшевые ботинки, я думала о Хваткине. О том, что он сурикат, душнила, зануда, которого я презираю всей своей петушиной душой. Но ещё он — человек, который запутался. Который полюбил. Который врал жене и боялся. Который не знал, как выбраться. И сегодня он, может быть, впервые за десять лет решился на что-то своё. Пусть даже это всего лишь стейк.

Я завязала шнурки и вышла. На улице пахло ноябрём и электричками. Где-то на Преображенке, в мансарде с фиалками, Ася ждала решения. Где-то в Переделкино Вероника Аркадьевна заваривала чай. А где-то в ресторане Хваткин, возможно, впервые в жизни сидел один перед тарелкой с мясом — без борща, без ванили, без обязанностей.

Я представила его лицо в этот момент — растерянное, испуганное, но живое. И от этой мысли мне было горько. И тепло. Как всегда, когда списанный петух видит, что даже сурикат иногда решается просто поест по-своему.

Вероника

Вероника Аркадьевна всегда приходила первой. Не потому, что ей нравилось работать в тишине — хотя это было приятно, — а потому, что электричка из Переделкино прибывала в восемь утра, а следующая — в восемь сорок, и та уже не оставляла времени на то, чтобы спокойно разложить бумаги, проверить почту и выпить чашку чаю до того, как коридор наполнится гулом голосов, запахом супчика и «вжик-вжик» вельветовых брюк Геннадия Павловича. Она заходила в пустой кабинет, включала свет, поправляла очки — указательным пальцем в переносицу, привычка, оставшаяся с тех времён, когда стёкла были тяжелее, — и первым делом проверяла, ровно ли лежат папки на столе. Если хоть одна была сдвинута хоть на сантиметр, Вероника Аркадьевна хмурилась и поправляла её, качая головой. Уборщица тётя Зина вечно всё двигала, протирая пыль, и сколько Вероника Аркадьевна ни просила не трогать бумаги — бесполезно. Но с тётей Зиной она не ругалась. Только вздыхала и снова выравнивала папки, как солдат в строю.

Она села за новый компьютер — тонкий, бесшумный, с большим матовым экраном, который выбила у IT-отдела полгода назад после долгой осады, — и, пока он загружался, достала из сумки ежедневник. Маленький, в мягкой кожаной обложке цвета коньяка, с золотым тиснением и тончайшей бумагой, на которой чернила не расплывались. Вероника Аркадьевна открыла его и провела пальцем по сегодняшней странице — там уже красовалась запись, сделанная накануне вечером её любимой ручкой Parker с золотым пером. Почерк был безупречен: твёрдый нажим, изящный наклон, заглавные буквы с крошечными росчерками, строчные — как бисер. Она писала так с юности, когда ещё в институте преподаватель по каллиграфии — да, в её время был такой предмет — сказал: «У вас, Стрельцова, рука аристократки. Не портите её дешёвыми ручками». С тех пор она не портила. Ручка менялась раз в несколько лет, но всегда была дорогой, с золотым пером, и паста подбиралась тёмно-синяя — не чёрная, не синяя, а именно благородного чернильного оттенка. Сегодня в ежедневнике значилось: «Проверить квартальную сводку. Ответить Хваткину. Позвонить Лизе». И в скобках, ниже, приписка помельче: «Шарлотка. Яблоки купить». Она улыбнулась краешком губ, захлопнула ежедневник и убрала его в ящик стола.

В девять коридор начал оживать. Первым, как всегда, прогрехотал Геннадий Павлович — его вельветовые брюки было слышно за три кабинета. Потом проплыла Элеонора Аркадьевна, и воздух наполнился «Слёзами Жозефины». Вероника Аркадьевна поморщилась и приоткрыла окно — ноябрьский холод ударил в лицо, зато дышать стало легче.

В половине десятого заглянула Гульнара Рашидовна — начальница и единственная подруга. Они не афишировали свою дружбу, но по утрам, пока кабинет ещё не заполнился посетителями, позволяли себе короткий ритуал: Гульнара приносила две чашки зелёного чая, и они пили его стоя у окна, обсуждая планёрку, погоду и, изредка, личное.

— Ты сегодня с шаром, — заметила Гульнара, кивая на перстень с голубым камнем. — К дождю или к блузке?

— К блузке, Гульнара, к блузке, — Вероника Аркадьевна поправила манжет шёлковой рубашки, переключившись по тону с камнем. — Слёзы у меня только по пятницам, ты же знаешь.

— По пятницам у тебя агат.

— По пятницам у меня электричка в шестнадцать сорок пять. Тут хоть бриллиантами плачь — быстрее не поедешь.

Гульнара тихо рассмеялась и отпила чай. Вероника Аркадьевна не улыбнулась, но в её глазах мелькнуло что-то похожее на тепло. Они помолчали, глядя в окно на тополь.

— Слушай, — вдруг сказала Гульнара, — я вчера письмо от Хваткина получила. Ты видела? Он там такие обороты заворачивает — «в свете вышеизложенного», «согласно достигнутым договорённостям». Будто диссертацию пишет, а не запрос.

— Я ещё не читала, — Вероника Аркадьевна поджала губы. — Но если он опять на полстраницы размазал то, что можно уложить в три строчки, я ему устрою «согласно достигнутым».

— Жестокая ты женщина.

— Я не жестокая, я справедливая. Это разные вещи.

Гульнара снова улыбнулась и, допив чай, вышла. Вероника Аркадьевна вернулась за стол и открыла почту.

Письмо от Хваткина действительно было. Она пробежала его глазами: «В свете вышеизложенного, прошу Вас, уважаемая Вероника Аркадьевна, рассмотреть возможность корректировки представленных мною ранее документов в соответствии с прилагаемым перечнем» — и дальше на полстраницы витиеватых оборотов, за которыми терялась суть. Заголовок не соответствовал утверждённой форме, регистрационный номер отсутствовал, а прилагаемый перечень не был заверен его собственной подписью.

Вероника Аркадьевна вздохнула. Она не торопилась. Положила руки на клавиатуру, и её длинные пальцы с вишнёвым маникюром зависли над клавишами. Печатала она медленно, но каждое слово выверяла, как ювелир.

«Уважаемый Иван Николаевич!»

Пауза. Она подумала и стёрла «уважаемый». Написала: «Иван Николаевич».

«Благодарю за Ваше письмо. В представленных Вами документах мною выявлены следующие несоответствия: заголовок не соответствует утверждённой форме, регистрационный номер не присвоен, прилагаемый перечень не подписан. Прошу Вас впредь оформлять документы в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Это экономит время — как Ваше, так и моё. С уважением, В.А. Стрельцова».

Она перечитала написанное и позволила себе крошечную, почти незаметную улыбку. Ей нравилось ставить Хваткина на место. Она нажала «отправить» и почувствовала лёгкое, почти приятное удовлетворение. Пава клюнула. Можно работать дальше.

В одиннадцать она вышла в коридор — размять ноги — и, проходя мимо кабинета, где сидела Громобоева, невольно замедлила шаг. Эта девочка Вероника Аркадьевна не сразу нашла для неё слово. Полноватая, с простой русской внешностью, голубоглазая, с тёмно-русскими волосами, отливающими рыжиной на свету, всегда убранными в тугий пучок на затылке — ни дать ни взять самурай, проигравший битву и пошедший работать в отдел. Очки в тонкой оправе цвета сафари сидели на носу немного криво, и она вечно поправляла их указательным пальцем. Одевалась Громобоева так, будто объявила личную войну офисному дресс-коду: мешковатый пиджак поверх футболки, а на ногах — что-то немыслимое. То кеды известной фирмы кислотно-розового цвета, то тёмно-вишнёвые итальянские монки, натёртые до блеска, то замшевые испанские ботинки тёмно-зелёного оттенка, то яркие кроссовки именитой марки, кричащие даже сквозь пасмурный свет коридора. Никаких юбок, никаких каблучков — только брюки, только кеды, только хардкор. Вероника Аркадьевна не одобряла этот стиль — он резал ей глаз, — но вынуждена была признать: Громобоева одевалась дорого. Беспорядочно, но дорого. И эта сутулая спина — наследие дзюдо, как выяснилось позже, — придавала ей вид человека, который не позирует, а просто живёт, и это тоже раздражало. Потому что Вероника Аркадьевна всю жизнь позировала. А Громобоева — нет.

Сейчас она сидела, уткнувшись в бумаги, и на её лице было то самое выражение, которое Вероника Аркадьевна слишком хорошо знала по собственному прошлому. Сосредоточенность. Упрямство. И — да, брезгливость к окружающему бардаку. Вероника Аркадьевна заметила это не сразу, а спустя пару месяцев после появления Громобоевой в отделе. Та тоже

морщилась от запахов. Тоже поправляла папки, когда думала, что никто не видит. Тоже всех называла на «вы», даже когда ей говорили «ты». И Веронику Аркадьевну это раздражало. Раздражало, потому что напоминало ей саму себя — двадцать лет назад, когда она только пришла сюда после министерства и так же отчаянно держалась за свои правила в мире, который жил совсем иначе. Только она была в шпильках и с идеальной осанкой, а эта — в кедах и с сутулой спиной борца. Но суть-то была одна. И от этого раздражение становилось только острее.

— Агриппина, — сказала она, остановившись в дверях.

Та вздрогнула и подняла голову. Голубые глаза блеснули из-под очков — усталые, но цепкие.

— Доброе утро, Вероника Аркадьевна.

— Документы за третий квартал у тебя?

— Да, я как раз проверяю.

— Проверь внимательно. В прошлый раз подпись была не на месте, а регистрационный номер я вообще не нашла. Всё должно быть по инструкции, ты знаешь.

— Я помню. Я исправила.

Вероника Аркадьевна кивнула и уже собиралась уйти, но что-то её остановило. Она снова взглянула на Громобоеву — на её самурайский пучок, на кислотные кеды, выглядывающие из-под стола, на очки сафари, которые та снова поправила, — и вдруг почувствовала лёгкий, почти неуловимый укол. Нежности? Нет. Скорее — узнавания. Так смотрят на старую фотографию, где ты ещё молод и глуп, но уже полон сил. Только на фото ты в элегантном платье, а тут — в кроссовках и с вечно сутулой спиной. Но выражение глаз — то же самое.

— Хорошо, — бросила она и вышла.

В обед она достала термос с тыквенным супом и контейнер с котлетами, которые вчера вечером сама пожарила, и пошла в буфет. Ела одна, медленно, глядя в окно на тополь. Думала о том, что надо купить яблок для шарлотки. Думала о муже. О том, как он, ещё живой и весёлый, воровал горячие яблоки прямо с противня и обжигал пальцы, а она ругалась и дула на его ладони. Думала о чашках.

Чайная пара из китайского фарфора стояла дома в серванте, и она доставала её только тогда, когда оставалась одна. Тончайший фарфор песочного цвета, ручная работа, подарок коллег мужа на их серебряную свадьбу. На каждой чашке — золотая ветка: на одной чуть длиннее, на другой — с изящным изгибом. А на доньшке, внутри, — их инициалы, переплетённые в крошечный вензель. Когда чашки стояли рядом, ветки почти соприкасались, и Веронике Аркадьевне всегда казалось, что это они с мужем — тянутся друг к другу через край фарфора. Он говорил: «Это я к тебе тянусь». Она отвечала: «А это я тебя жду». Теперь она пила только из одной чашки — его. Свою оставляла в серванте. Пить из обеих было невыносимо.

После обеда она вернулась в кабинет и снова села за компьютер. Снова проверила почту — Хваткин не ответил, и это было хорошим знаком: значит, переваривает замечания. Она поправила браслет на запястье — массивное золотое плетение, якорная цепь, крупные звенья, которые мягко перекатывались при каждом движении, — и мельком взглянула на умные часы. Шаги обнулились в полночь, и с утра набежало пока что чуть больше четырёх тысяч — мало-вато, надо будет вечером пройтись по платформе. Рядом с браслетом часы смотрелись чуть нелепо — спорт и классика, — но она привыкла. К тому же ремешок сегодня был чёрный, строгий, почти незаметный, и это её устраивало.

В четыре часа она встала и пошла в туалет. На пороге, как всегда, замерла. В раковине плавала макаронина. Зеркало было заляпано. Вокруг урны громоздились бумажные сугробы. Вероника Аркадьевна глубоко вздохнула и, стараясь ни к чему не прикасаться, вытерла зеркало своим бумажным платком — только чтобы видеть собственное отражение. Убирать она не собиралась. Не для того она носила шпильки и перстни, чтобы вылавливать чужую капусту из раковины. Она вышла, мысленно составляя текст записки тёте Зине: «Убедительная просьба

обратить внимание на санитарное состояние» — и тут же одёрнула себя: опять не подействует. Тётя Зина делала вид, что читает, и продолжала всё двигать.

Ровно в шестнадцать сорок пять она поднялась, собрала сумку, поправила пиджак и вышла в коридор. У лифта столкнулась с Гульнаррой.

— До понедельника?

— До понедельника.

Она вышла на улицу, вдохнула сырой ноябрьский воздух и быстрым шагом направилась к станции. Обычно в это время электрички шли полупустые, но сегодня, как назло, на путях что-то случилось — то ли состав задержали, то ли отменили предыдущий, — и к платформе подъехал вагон, битком набитый людьми. Вероника Аркадьевна шагнула внутрь, и её тотчас стиснули со всех сторон: справа — крупная женщина с двумя баулами, слева — юноша в наушниках, который ритмично дёргал плечом и, кажется, даже не замечал, что толкает её локтем. Пахло смесью мокрой шерсти, чьего-то слишком сладкого парфюма и отдалённо — чебуреком, который кто-то ел в дальнем конце вагона. Вероника Аркадьевна стиснула зубы, вцепилась одной рукой в поручень, другой прижала сумку к груди и замерла, стараясь занимать как можно меньше места. Шпильки предательски скользили по грязному полу, и она молилась только об одном: чтобы никто не наступил ей на ногу. Юноша снова дёрнул плечом, пихнув её в бок, и Вероника Аркадьевна мысленно произнесла фразу, которую никогда не сказала бы вслух, но которая в эту минуту показалась ей абсолютно уместной. Пятница. Час пик. Электричка. И никакие перстни тут не помогут.

Лишь через две остановки толпа немного рассосалась, и Вероника Аркадьевна смогла наконец прислониться к окну. Она закрыла глаза и позволила себе не думать ни о Хваткине, ни о квартальных сводках, ни о макаронине в раковине. Она думала только о том, что вечером снимет туфли, наденет мягкие тапки, заварит чай и достанет из серванта две песочные чашки. Поставит их рядом, чтобы золотые ветки почти соприкоснулись. И скажет фотографии на камине:

— Ну вот, ещё одна неделя. Я скучаю.

И сама себе ответит его голосом — тёплым, чуть хриловатым:

— Я тоже.

И улыбнётся — тепло, устало, по-домашнему. Потому что маска маской, а дома, в тишине, она снова просто Вероника. Жена, которая до сих пор разговаривает с фотографией и ждёт, что однажды он ответит. И иногда — когда чашки стоят рядом, а за окном шумит ветер, — ей кажется, что он и правда отвечает.

Сабыр (Гульнара)

В кабинете, который они делили с Вероникой Аркадьевной, всегда пахло двумя вещами — чаем и «Коко Шанель». Чай был Вероникин: чёрный, с бергамотом, заваренный в маленьком заварочнике, который та приносила из дома. «Коко Шанель» был её собственный — он въедался в шторы, в спинку кресла, в папки с грифами «Для служебного пользования», и коллеги шутили, что если Гульнару Рашидовну уволят, кабинет ещё месяц будет пахнуть ею одной. Она знала об этих шутках и не обижалась: в конце концов, «Коко Шанель» — это оружие, выбранное сознательно.

Каждое утро, когда она приходила, Вероника Аркадьевна уже сидела за своим столом — с прямой спиной, в шёлковой блузе, с неизменным браслетом на запястье. У неё были короткие, почти белые волосы, уложенные волосок к волоску, и тонкий, чуть дымный аромат — ирис, чёрная роза, сандаловое молоко, амбра. Гульнара знала, что эти духи связаны с её прошлым, но никогда не спрашивала. Вероника всегда приходила первой: открывала окно на пять минут, чтобы впустить свежий воздух, заваривала чай и только потом включала компьютер. Когда Гульнара однажды спросила почему — почему так рано? — Вероника пожалала плечами и ответила: «Дома всё равно не спится. А здесь — хотя бы чай». И Гульнара поняла: для этой женщины офис — не работа, а убежище. Такое же, как для неё самой.

В то утро Вероника, как всегда, опередила её. Гульнара вошла, повесила пиджак в шкаф — угольно-серый, из тонкой итальянской шерсти, сидевший идеально, несмотря на её невысокий рост и женственные бёдра, которые она научилась не стесняться только к сорока годам. Поправила выющиеся волосы — тяжёлую копну ниже плеч, всегда распушенную, уложенную крупными локонами, как носили женщины её рода ещё в Казани. Мать говорила: «Гульнара, твои волосы — это твоя корона, никогда не прячь их под платок, если не хочешь». И она не прятала. Даже когда Рустем, бывший муж, ворчал, что на работе на неё слишком смотрят.

— Доброе утро, Вероника Аркадьевна.

— Доброе, Гульнара Рашидовна. Чай готов. Ваша кружка на месте.

На краю её стола, рядом с монитором, уже стояла та самая кружка — из тонкого фарфора, белая, с синим восточным орнаментом по ободку и арабской вязью, сплетающейся в слово «сабыр» — терпение. Вероника всегда ставила её ровно на салфетку, будто знала, что эта кружка — не просто посуда. Гульнара не рассказывала ей историю «сабыра», но Вероника чувствовала такие вещи без слов. С тех пор как они сдружились — после той ночи, когда Гульнара позвонила ей поздно вечером и попросилась в гости, — между ними установилось молчаливое понимание: у каждой свои шрамы, и каждая уважает чужие.

Гульнара села за стол, открыла ноутбук, но прежде чем погрузиться в цифры, взяла кружку в ладони. Чай был заварен ровно так, как она любила, — крупнолистовой цейлонский, не из пакетика. Вероника запомнила. Гульнара сделала глоток и посмотрела в окно, где за стеклом сгустился ноябрьский день. Два года назад в это же время она ещё жила в другом доме, с другим мужчиной, и слово «сабыр» на кружке означало для неё пожизненный приговор.

Рустем был красивым мужчиной. Высокий, плечистый, с той особой татарской статью, которая передаётся по мужской линии как родовая драгоценность. Инженер-строитель, из хорошей, состоятельной семьи, с правильной речью и умением держать себя в обществе. Их брак считали образцовым: трое сыновей, дом в престижном посёлке, совместные поездки на сабантуй и в театр. Но Гульнара знала: образцовый фасад держится на её молчании. На её «сабыр».

Первая измена случилась, когда Тимуру было три года. Она узнала случайно — увидела в его телефоне сообщение от коллеги, не предназначенное для жены. Тогда она плакала ночь, а утром приняла решение простить. «У всех мужчин бывают слабости», — сказала мать. Вторая

измена, третья, четвёртая Она перестала считать. Каждый раз он клялся, что это последний раз, дарил золото, возил в Милан, и она верила — или заставляла себя верить, — что семья важнее. Что мальчикам нужен отец. Что развод — это позор.

Но однажды терпение лопнуло. Не было громкой ссоры, не было скандала. Просто в какой-то вечер, когда он в очередной раз задержался «на объекте», а она нашла в его машине чужую заколку, Гульнара почувствовала не боль, а пустоту. Как будто внутри что-то перегорело. Она села на кухне, налила чай в материнскую кружку, посмотрела на арабскую вязь и вдруг поняла: «сабыр» — это не золото. Это тюрьма

Она подала на развод сама. Сама нашла адвоката, сама собрала документы. Рустем не верил до последнего — сначала уговаривал, потом угрожал, потом снова падал на колени и рыдал, как ребёнок. Но она переехала в съёмный таунхаус в Химках и впервые за двадцать лет уснула, не прислушиваясь к шагам в коридоре.

Тот день, когда он приехал к ней в новый дом, она запомнила навсегда.

Она только вернулась с работы, даже туфли не сняла, когда в дверь позвонили. На пороге стоял Рустем — высокий, всё ещё красивый, с букетом алых роз и выражением лица, которое она когда-то любила. Мальчики были на тренировке, так что они говорили наедине.

— Гуля, — начал он с порога, и голос его дрожал, как у юноши. — Я всё осознал. Я был дураком. Двадцать лет ты была мне женой, матерью моих детей, ты — всё, что у меня есть. Пожалуйста, вернись. Я изменюсь. Я поклянусь на Коране, если хочешь.

Она молчала, прислонившись к косяку. Он вошёл в гостиную, оглядел стеллажи с книгами — её библиотеку, которую она вывезла целиком, не оставив ему ни тома, — и вдруг опустился на колени прямо на ламинат.

— Я не могу без тебя. Я пробовал — не могу. Дом пустой, кровать холодная. Я каждую ночь плачу, Гуля. Ты думаешь, мне легко? Я знаю, что виноват, но я исправлю. Я уволю всех своих ассистенток, я переvedусь в другой отдел, я буду приходить домой в шесть. Только вернись.

Она смотрела на него сверху вниз — на этого большого мужчину, который сейчас стоял на коленях и размазывал слёзы по лицу, — и не чувствовала ничего. Совсем ничего.

— Встань, Рустем, — сказала она тихо. — Не позорься.

— Не встану, пока ты не скажешь «да». Я люблю тебя. Я всегда тебя любил. А те женщины это просто слабость, ты же понимаешь. Мужчины так устроены. Но сердце моё всегда было с тобой

— Сердце? — переспросила она, и в голосе её впервые за весь разговор прорезалась сталь. — Твоё сердце было с Леной из бухгалтерии, когда у Аскара был приступ астмы, а ты не брал трубку. Твоё сердце было с Зульфией из массажного салона, когда я лежала с температурой и просила тебя забрать детей с секции. Твоё сердце было с очередной ассистенткой, когда я нашла переписку и плакала в ванной, чтобы не слышали сыновья. Это ты называешь сердцем?

Он вскочил. Лицо его перекопилось. От прежней мольбы не осталось и следа — теперь перед ней стоял чужой, злой мужчина, которого душила уязвлённая гордость.

— Ты хоть понимаешь, что одна не потянешь? Кто ты без меня? Сидишь в своём отделе, думаешь, что начальница, а на деле — никто. У меня связи, деньги, адвокаты. Я сотру тебя в порошок. Останешься без всего — без денег, без жилья, с тремя пацанами на шее. И кому ты будешь нужна? Кому вообще нужна женщина в сорок семь лет, с чужими детьми и без гроша? Оглянись — таких, как ты, никто не ждёт. Ты пропадёшь одна, и дети тебя же проклянут.

Она улыбнулась — впервые за весь разговор. Не зло, не горько, а с каким-то новым, незнакомым ей самой спокойствием.

— Пусть пропаду, — сказала она тихо. — Пусть никто не ждёт. Но лучше я буду никем для всего мира, чем твоей вещью. С детьми общайся, Рустем. Они тебя любят, и я не стану им мешать. А меня — забудь.

Он ушёл, хлопнув дверью так, что задрожали стёкла. А она села в кресло, взяла кружку с «сабыр» и вдруг поняла, что руки не дрожат. Совсем. Тогда она впервые за много лет налила себе чай и выпила его не как лекарство от боли, а как праздник.

Через два дня он прислал смс. Грязное, злое, полное яда: «Ты без меня — пустое место. Подумай, кому ты нужна в сорок семь, с тремя детьми и без гроша? Ты закончишь одна, и дети отвернутся, и всё, что у тебя есть, — это твоя дурацкая гордость. Которая тебя и погубит».

Она прочитала это сообщение вечером, когда мальчики уже уснули. Телефон пиликнул, она взглянула на экран — и замерла. Слова были как удар под дых — не потому, что она им верила, а потому, что они были сказаны человеком, с которым она прожила двадцать лет. Гульнара сидела на кухне, сжимая кружку с «сабыр», и чувствовала, как внутри, под всеми слоями выдержки, что-то беззвучно рушится. Она не плакала — просто смотрела в одну точку, и комната вокруг становилась чужой, необитаемой, как декорация к чужой жизни. В тишине было слышно, как на холодильнике гудит мотор и как в соседней комнате посапывает во сне Карим.

Она поднялась, подошла к книжной полке, взяла томик Бродского — машинально, как хватаются за перила, когда оступаются. Раскрыла наугад, но буквы не складывались в слова. Она держала книгу в руках и не могла прочесть ни строчки — не потому что слёзы застилали глаза, а потому что внутри стоял такой грохот, что ни один поэт не мог его перекричать. Тогда она взяла телефон и набрала номер.

— Вероника Аркадьевна? Простите, что поздно. Я можно мне к вам приехать?

На том конце провода молчали секунду. Потом спокойный, тёплый голос:

— Записывайте адрес. Я заварю чай.

Гульнара накинула пальто, предупредила старшего Тимура, что вернётся поздно, и вышла в ноябрьскую ночь. Такси домчало её до Переделкино за полчаса. Вероника Аркадьевна встретила её в дверях — в мягких тапках, с короткими, почти белыми волосами, без обычного браслета на запястье. Домашняя, беззащитная, но всё такая же прямая.

— Проходите. Чай уже заварен.

На кухне, освещённой тёплым абажуром, на столе стояли две песочные чашки, расписанные золотыми ветками. Гульнара никогда не видела их раньше — только краем уха слышала, что Вероника хранит какую-то особенную пару, но не придавала значения. Теперь, заметив, как бережно хозяйка поправляет одну из них, она поняла: это не просто посуда. Вероника поймала её взгляд и просто сказала:

— Сегодня особый случай.

Они сели друг напротив друга. Чай был чёрный, с бергамотом, — тот самый, что Вероника заваривала по утрам в офисе. Гульнара отпила и вдруг заплакала — по-настоящему, в голос, не стесняясь. И Вероника не стала её успокаивать. Она просто сидела рядом, подливая чай и ждала. А когда Гульнара заговорила — вылила всё: двадцать лет терпения, измены, страх, что она никто, что Рустем прав, что она потеряла лучшие годы и осталась одна с тремя детьми, — Вероника слушала, не перебивая. И молчание её было не осуждающим, а понимающим.

Потом заговорила сама. О муже. О том, как любила его и как однажды не стало ни его, ни смысла. О том, что первые годы после смерти она просыпалась с мыслью: зачем жить дальше? О том, что эти чашки — всё, что у неё осталось, и она достаёт их только по вечерам. О том, что научилась жить заново — шаг за шагом, день за днём, электричка за электричкой.

— Я ведь тоже думала, что ничего не значу, — сказала она негромко. — Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять: это неправда. И вам потребуется. Но вы справитесь. Вы сильная.

Гульнара слушала, и её собственное горе понемногу утихало, уступая место чему-то новому — не жалости к себе, а странному, почти благоговейному уважению к этой женщине, которая смогла выжить и не озлобиться. Когда Вероника замолчала, Гульнара перевела взгляд

на каминную полку, где стояла фотография — мужчина лет шестидесяти, с крупными чертами лица и седыми висками, в твидовом пиджаке. И всё встало на свои места: этот человек был тем, о ком Вероника говорила последние полчаса. Её муж. Её потеря. Её вечная любовь, которая теперь жила только в этих чашках и в тишине этого дома. Гульнара ничего не сказала — просто посмотрела на Веронику, и та кивнула, подтверждая безмолвный вопрос.

Они проговорили до рассвета. Чайник закипал снова и снова, золотые ветки на чашках смотрелись в полумраке как живые. Гульнара рассказывала про мать, про Казань, про то, как слово «сабыр» превратилось из благословения в проклятие. Вероника слушала, подперев щеку ладонью, и иногда улыбалась — устало, но тепло.

Когда за окнами начал сереть рассвет, Гульнара поднялась. Они стояли в прихожей, и Вероника вдруг сказала:

— Знаете, Гульнара Рашидовна Я рада, что вы позвонили. Иногда очень нужно с кем-то помолчать.

— И поговорить, — добавила Гульнара.

Они улыбнулись. Впервые за долгое время улыбка была не маской, не рабочим инструментом, а просто — человеческим теплом.

С того дня они сдружились. Нет, не так — с того дня они стали двумя женщинами, которые знают цену одиночеству и умеют распознать его в глазах другой. В офисе всё осталось по-прежнему: «Гульнара Рашидовна» и «Вероника Аркадьевна», чай по утрам, квартальные отчёты. Но теперь у каждой из них был человек, которому можно позвонить ночью. И если звонил телефон — трубку снимали сразу.

Прошёл год.

Гульнара сменила съёмный таунхаус на небольшую, но уютную квартиру в хорошем районе. Мальчики подросли: Тимур заканчивал школу, Аскар увлёкся программированием, Карим всё ещё играл в хоккей и требовал, чтобы мама приходила на все матчи. Она приходила. Сидела на трибуне, вдыхала запах льда и резины, и чувствовала, как понемногу оживает.

А потом в её жизни появился Илья.

Это случилось в книжном на Мясницкой, в зале с альбомами по искусству. Она потянулась за томиком Куинджи, и чья-то рука — большая, с длинными пальцами и дорогими часами на запястье — потянулась за тем же альбомом одновременно. Их пальцы встретились.

— Простите, — сказал низкий голос. — Я, кажется, помешал.

Она подняла глаза и увидела лицо, которое могло бы принадлежать состарившемуся князю из старого фильма: седые виски, глубокие морщины у глаз, лёгкая небритость, умный, спокойный взгляд. Он был высок, широкоплеч, одет в кашемировое пальто и пах чем-то дорогим и дорогим.

— Ничего, — сказала она, и голос её, к её удивлению, прозвучал мягче обычного. — Берите. Я посмотрю другое.

— Ни в коем случае, — он улыбнулся. — Давайте посмотрим вместе. Вы любите Куинджи?

— Очень. Особенно «Лунную ночь на Днепре». У меня дома есть репродукция.

— У вас отличный вкус, — сказал он. — Меня зовут Илья.

— Гульнара.

Через час они сидели в кофейне напротив и говорили о Бродском, о том, что Москва стала слишком шумной. Илья оказался архитектором — известным, богатым, но без капли снобизма. Он говорил о своих проектах с усмешкой, будто это не небоскрёбы, а детские замки из песка. И он смотрел на неё так, как никто никогда не смотрел: не оценивая, не раздевая глазами, а просто — с интересом, с теплом, с тем особым мужским вниманием, которое дороже любых комплиментов.

Через месяц он впервые поцеловал её. Это случилось на заснеженной набережной, когда декабрь уже зажёт фонари, и снег падал большими хлопьями на её распущенные волосы. Она думала, что в сорок семь лет таких поцелуев не бывает. Оказалось — бывают.

Роман они держали в тайне. Не потому, что было чего стыдиться, а потому, что Гульнара не хотела, чтобы офисный планктон обсуждал её личную жизнь у кулера. «Первая пава» завела роман? Слишком много чести для сплетен. Илья понимал её без слов. Он был терпелив — не давил, не клялся, не обещал золотых гор. Просто был рядом: раз в неделю, иногда два. Привозил цветы, которые она не выставляла в кабинете, но хранила в памяти. Рассказывал о своих проектах, спрашивал о её детях, но никогда не навязывался знакомиться с ними. Он ждал. И она была благодарна ему за это ожидание.

Но Вероника догадалась.

Это случилось в прошлый вторник. Гульнара вернулась с обеда чуть позже обычного, с новым блеском в глазах, и Вероника, подавая ей квартальный отчёт, вдруг задержалась в дверях.

— Гульнара Рашидовна, — сказала она, чуть улыбнувшись. — Вы сегодня пахнете не только «Коко Шанель», но и чем-то ещё. Чем-то мужским. И очень дорогим.

Гульнара вспыхнула, но выдержала взгляд.

— Вам показалось, Вероника Аркадьевна.

— Разумеется, — Вероника кивнула с той же лёгкой улыбкой. — Но если не показалось — знайте: я рада. Очень рада. Вы молодец. Жизнь идёт, и это правильно.

Она вышла, прикрыв за собой дверь. А Гульнара ещё долго сидела, глядя в окно и чувствуя, как внутри разливается тепло, которому она когда-то запретила появляться.

Вечером, дома, когда мальчики уже спали, а за окнами шумел декабрьский ветер, она достала из серванта материнскую кружку — ту самую, с синей вязью и вечным «сабыр», — заварила чай и села в кресло. Рядом лежал томик Бродского, раскрытый на любимом: «Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потеряян» День больше не потеряян. Она сделала глоток и вдруг поняла: слово «сабыр» теперь означает для неё не «терпи», а «ты вытерпела, теперь живи».

Она взяла телефон и написала Илье короткое: «Спасибо, что ждёшь». Ответ пришёл через минуту: «Я никуда не тороплюсь. Ты стоишь любого ожидания».

Гульнара улыбнулась, допила чай и поставила кружку на стол. Завтра вторник. До пятницы — ещё три дня. А в пятницу они снова увидятся. И мальчики уедут на хоккей. И она нальёт себе чай в ту же кружку, которая когда-то была символом её тюрьмы, а теперь стала символом её свободы.

И будет счастлива.

Иду (Борис)

Борис Ефимыч ел. Он делал это с той же неукротимой основательностью, с какой его отец, полковой повар, рубил капусту, а дед, кронштадтский боцман, месил сапогами палубу. В офисе его звали Моржом — не за усы, которых не было, а за бороду, напоминавшую археологический раскоп обедов. В ней, как в геологических слоях, можно было обнаружить крошки вчерашнего круассана, волоконца позавчерашней котлеты и микроскопические брызги супа, которыми он щедро орошал всё вокруг. Жевал он, как турбина, чавкал, как насос, и заливал всё мускусным одеколоном «Тройной», будто тот мог заглушить котлетное извержение.

Коллеги сторонились его. Он привык. Он вообще ко многому привык за свои пятьдесят три года — к одиночеству, к тишине пустой квартиры, к тому, что никто не знает, кто он на самом деле. Никто не знал о старой глиняной кружке, что стояла у него дома, на краю письменного стола, — без росписи, без глазури, с маленьким сколом на ободке. Эта кружка была единственной вещью, которая связывала его с Леной — с той, кого он полюбил в двадцать лет и не разлюбил до сих пор.

Он встретил её на первом курсе политехнического. Тонкая, светлая, с лицом, которое не требовало косметики, и голосом, который не умел врать. Они ходили в кино, на каток, в библиотеку. Он читал ей Блока, она ему — Есенина. Однажды он купил у уличного гончара две глиняные кружки — простые, дешёвые, но с живым теплом ручной работы. Одну оставил себе, вторую подарил ей. Она засмеялась и сказала: «Теперь у нас общая посуда». Это было самое счастливое слово — «общая».

А потом она исчезла. Не пришла на встречу, не ответила на звонок. Через неделю он нашёл её дом — дверь открыла мать и сказала: «Леночка уехала. Не ищи». Он искал. Обошёл всех подруг, всех знакомых, деканат, справочную. Никто не знал. Он плакал по ночам, глотал валерьянку, пытался забыться с другими — но ничего не выходило. Тело слушалось, а душа — нет. Девушки приходили и уходили, а он оставался один, с фотографией, которую не мог выбросить, и кружкой, из которой никогда не пил.

Через полгода пришло первое письмо. Она писала, что ушла в монастырь, что просит прощения, что та девушка, которую он любил, умерла, а вместо неё теперь другая — монахиня Серафима. Письмо было сухое, почти жестокое, с цитатами из святых отцов и упрёками в «мирском отношении». Она просила не искать, не писать, не ждать.

Он писал. Каждую неделю, потом каждый месяц. Не из офиса, не на бегу — письма он писал только дома, по вечерам, когда за окнами темнело и в квартире не оставалось ни звука. Он садился за старый письменный стол, зажигал настольную лампу с зелёным абажуром — ещё отцовскую, довоенную, — и доставал из ящика бумагу, конверт и ручку. В эти минуты он становился собой. Исчезал Морж с бородой-раскопом и чавканьем; исчезал Борис Ефимыч, незаметный клерк; оставался Боря — тот самый, двадцатилетний, который всё ещё любил. Он ставил перед собой глиняную кружку — не для чая, просто чтобы видеть, — и начинал писать. Ручка скрипела по бумаге медленно, вдумчиво; он выводил каждую букву, как выводят молитву. Он рассказывал ей о погоде, о книге, которую прочитал, о птицах, которые свили гнездо под карнизом. О том, как трудно было менять работу за работой — после развала завода он устроился в маленькую контору, где сидел в комнате на четверых, пахнувшей табачным дымом и сыростью, где за стеной гремели печатные машинки, а начальник кричал так, что дребезжали стёкла. Он писал ей о том, как страшно оставаться одному, когда родители уходят один за другим; как тяжело не озлобиться, когда жизнь подсовывает одно испытание за другим; как он впервые зашёл в храм — просто постоять, просто помолчать. Он спрашивал её о вере, о молитве, о том, как научиться прощать. Он не жаловался, не просил, не упрекал.

Просто говорил с ней. Иногда он поднимал глаза и смотрел в окно, где за стеклом качались ветки старого тополя, и ему казалось, что она где-то там, за этим небом, и слышит его.

Она отвечала — сначала раз в месяц, потом раз в два. Первые письма были полны суровости: она писала, что прежняя Лена умерла, что он должен забыть её, что любовь между мужчиной и женщиной — лишь ступень, а не цель. Но постепенно, очень медленно, тон её писем начал меняться. Она стала спрашивать о его жизни, о работе, о здоровье. Стала называть его «Боря». А когда он написал ей о смерти матери и о том, как впервые встал на колени перед иконой и заплакал — она ответила не цитатой из святого отца, а простыми словами: «Ты не один. Господь с тобой. И я молюсь о тебе каждый день. Держись, Боря. Ты сильный». Он перечитывал эти строчки десятки раз, пока бумага не истёрлась на сгибах. Впервые за много лет он почувствовал, что его кто-то ждёт — не здесь, не в этом городе, не в этой жизни, но где-то там, за горизонтом

Шли годы. Он научился молиться — сначала неумело, запинаясь на каждом слове, потом всё глубже, всё искреннее. Устроился на новую работу, уже не в прокуренную контору, а в приличный офис с кулером и ксероксом. Крестил племянников — Емельяна, Ермолая и Дарью, — и когда сестра Мария овдовела, стал помогать ей всем, чем мог: деньгами, временем, уроками с мальчишками, долгими разговорами с Дашей, которая тяжелее всех переживала смерть отца. Он откладывал каждый рубль, чтобы выплатить сестрину ипотеку, возил продукты по выходным, чинил краны и менял проводку. И думал: вот вырастут дети, встанут на ноги, и тогда он уйдёт. Туда. В тишину. В покой. Он писал об этом Серафиме — о том, как трудно совмещать заботу о семье с мыслью о монастыре, о том, что иногда ему кажется: он разрывается между двумя жизнями, нигде не успевая до конца. Она отвечала: «Не торопись. Всеми своё время. Твоя забота о близких — это тоже служение. Ты уже идёшь этим путём, даже если не замечаешь». И он верил ей. Верил каждому слову, написанному её рукой.

Однажды она написала: «Боря, если хочешь — приезжай. Не ко мне в обитель, а просто — в храм у монастырских ворот. Там есть скамейка под старой яблоней. Я смогу выйти ненадолго. Только не ради меня — ради себя. Тебе нужно увидеть это место».

Он поехал — поездом, потом автобусом, потом пешком через поле. Монастырь открылся не сразу: сначала из-за холма показалась колокольня, потом золотой купол, потом белые стены, окружённые яблоневым садом. Ворота были открыты. Пахло мёдом, воском, нагретой землёй и едва уловимо — ладаном. По дорожкам ходили монахини в чёрном, и никто не спрашивал, кто он и зачем. Он прошёл мимо цветников, мимо деревянных келий с резными наличниками, мимо храма, из которого доносилось пение — тихое, как дыхание.

У скамейки под старой яблоней стояла женщина. Он узнал её сразу — по глазам. Она почти не постарела. Лицо стало строже, губы тоньше, но глаза — те же, Ленины, светлые, как речная вода на солнце.

— Здравствуй, Боря, — сказала она. Голос был тихий, но не сухой — тёплый. Как летний дождь.

— Здравствуй, — ответил он и вдруг почувствовал, что не может сказать больше ни слова.

Они сидели на скамейке, и яблоня роняла лепестки на траву. Она рассказывала о монастырской жизни — о службах в четыре утра, о послушаниях, о том, как пекут просфоры и перебирают картошку в трапезной. О том, как трудно давались первые годы, как она плакала по ночам, но не жалела о своём выборе. О том, что молится за него каждый день — за «Борю, раба Божия Бориса». Он слушал и молчал. Ему казалось, что он пришёл домой — не в этот монастырь, а в то место, которое искал всю жизнь. Тишина была не пустой — она была наполненной. В ней звучало всё: пение птиц, скрип колодезной цепи, дальний звон колокола. И никуда не надо было спешить.

Она не звала его в монастырь. Она вообще не говорила об этом. Только в самом конце, когда солнце уже коснулось края яблоневого сада, она сказала:

— Ты хороший человек, Боря. Ты всегда им был. Если когда-нибудь ты захочешь пойти этим путём — не ради меня, а ради себя, — я буду молиться, чтобы Господь укрепил тебя. Но только сам. Только когда внутри созреет.

— Я знаю, — ответил он. — Я ещё не готов. Но я иду.

Она перекрестила его на прощанье, и он вышел за ворота. Обратный путь был долгим, но лёгким — будто кто-то нёс его над землёй.

Дома его встретила тишина пустой квартиры и старая глиняная кружка на столе. Он сел за письменный стол, зажёл зелёную лампу, достал бумагу. Долго смотрел на скол на ободке — маленькую зазубрину, которая хранила тепло её пальцев. Потом взял ручку и написал — уже не длинное письмо, а несколько слов: «Спасибо, что помолилась. Теперь я знаю, куда идти».

И улыбнулся — первый раз за много лет. Не жалкой, кривой улыбкой человека, который привык прятаться, а светлой, спокойной улыбкой того, кто наконец увидел берег.

А на столе, рядом с кружкой, лежали три детских рисунка: танк от Емельяна, космический корабль от Ермолая и девочка с собакой от Дарьи. Он посмотрел на них и подумал: ещё немного. Пусть дорастут. И тогда он снова сядет в поезд — навсегда. А пока — тишина, кружка, лампа и письмо, которое она получит через неделю. И в этом была его жизнь. Полная, осмысленная, настоящая.

А parte (Зинаида Павловна Берг)

Она мыла пол так, как другие молятся — медленно, сосредоточенно, не пропуская ни одной плитки. Швабра в её руках двигалась плавно, с той особой, почти балетной завершенностью каждого жеста, которую не объяснить зарплатой уборщицы. В офисе её звали просто Зинаида — без отчества, потому что отчество «Павловна» казалось слишком торжественным для женщины, которая вычищает чужие макароны из раковины и собирает бумажные сугробы вокруг урн. Она не обижалась. Она вообще редко говорила, а когда говорила, голос звучал глухо, будто из-под земли, и коллеги невольно замолкали, не понимая, что их насторожило.

Никто не знал, что тридцать лет назад этот голос наполнял зал самого именитого театра Ленинграда, и люди рыдали на балконах, когда её героиня умирала в финале. Никто не знал, что эти руки, сейчас сжимающие тряпку, когда-то держали букеты от поклонников, падавших перед ней на колени прямо на мокрый асфальт Невского. И уж точно никто не знал, что каждую ночь, лёжа в своей комнатухе у сестры, Зинаида Павловна Берг прокручивает в голове один и тот же день — как старую плёнку, заевшую на одном кадре, — и не может увидеть главного.

Она попала в театр сразу после института, и уже через два года о ней говорил весь Ленинград. У неё была красота, которую называли «нездешней» — высокая, с длинной шеей, с лицом, словно вырезанным из слоновой кости резцом безумного гения. Пепельные волосы, спадающие на плечи тяжёлыми волнами, огромные серые глаза, которые могли в одну секунду вспыхнуть гневом, а в другую — наполниться такой бездонной печалью, что у зрителей перехватывало дыхание. Скулы, острые, как лезвия, и рот — слишком большой, слишком яркий, созданный для крика и шёпота, для смеха и стонов. Она была красива не правильно, не мило, а опасно, разрушительно. Когда она входила в комнату, мужчины переставали дышать, а женщины инстинктивно поправляли волосы. Она не замечала ни тех, ни других.

— Я не умею чуть-чуть, — говорила она своему режиссёру, когда тот просил «сбавить градус» в сцене.

Они сидели в пустом зале после репетиции. Режиссёр, усталый, с тёмными кругами под глазами, тёр переносицу и смотрел на неё с любовью и отчаянием.

— Зинаида Павловна, голубушка, я прошу вас не о предательстве искусства. Я прошу о тишине. Вот здесь, — он ткнул пальцем в сценарий, — вы должны не кричать. Вы должны замолчать. И в этом молчании будет больше трагедии, чем в любом крике.

— В молчании? — она расхохоталась и спрыгнула со сцены в зал, не пользуясь ступеньками. — Вы хотите, чтобы я замолчала? Я не умею молчать. Понимаете? Не у-ме-ю. Я либо люблю так, что у меня рёбра трещат, либо не люблю вообще. Либо играю так, что зритель забывает, где он, либо не выхожу на сцену. Нет никакого «чуть-чуть». Это всё ложь, придуманная теми, кто боится жить

— Но ведь тишина — это тоже жизнь. Пауза — это тоже музыка. Фермата — это не остановка, это продление звука. Сами подумайте: разве можно кричать вечно?

— Можно, — отрезала она. — Я — живое доказательство.

— А я вам говорю — нельзя, — он вдруг встал и взял её за плечи. — Вы сгорите, Зинаида. Вы уже горите. Я вижу пепел у вас на ресницах

Она замолчала. Посмотрела на него долгим взглядом, в котором на секунду мелькнуло что-то похожее на страх.

— Пусть, — сказала она тихо. — Пусть горю. Зато я настоящая. Зато я не фальшивая, как все.

Актёрская её гениальность была того же происхождения — из этой бездонной, не знающей границ эмоциональной пропасти. Она не играла — она проживала каждую роль так,

будто это её собственная жизнь, и зритель чувствовал это кожей. Когда её Федра признавалась в преступной страсти, тишина стояла такая, что было слышно, как падает свет на пыльный бархат кулис. Когда её Анна Каренина бросалась под поезд, люди вскакивали с мест и кричали «Нет!», забывая, что они в театре. Критики писали: «Берг не играет — она сжигает себя на сцене дотла, и в этом пламени зритель видит отблеск божественного». Зарубежные режиссёры приезжали специально, чтобы посмотреть на неё, и уезжали потрясёнными.

— Фрау Берг, — сказал ей однажды немец, худой и длинный, с глазами пророка, — вы должны поехать со мной в Берлин. Мы поставим «Медю». Весь мир узнает ваше имя.

— А зачем мне мир? — она отпила коньяк и посмотрела на него с усмешкой. — У меня есть Ленинград. Здесь меня любят. Здесь меня ненавидят. Здесь я живая. А там — что? Деньги? Слава? Это скучно.

— Вы отказываетесь от мировой славы?

— Я не хочу быть звездой. Звезда — это что-то мёртвое, холодное, висящее в пустоте. Я хочу быть правдой. Понимаете? Правдой. А правда не продаётся за деньги. Она либо есть, либо нет.

Любовь была её топливом, её наркотиком, её проклятием. Мужчины сходили по ней с ума — буквально. Один, молодой композитор, написал ей симфонию и застрелился, когда она не пришла на премьеру. Другой, знаменитый художник, рисовал её портреты десятками и угрожал повеситься, если она бросит его. Она не бросала — она просто уходила, когда чувства остывали, и не понимала, почему это должно кого-то ранить.

— Ты не женщина, ты — цунами, — сказал ей однажды пожилой драматург, с которым у неё был короткий, но памятный роман. Они лежали в его прокуренной квартире на Мойке, он гладил её по волосам, а она курила, стряхивая пепел прямо на пол.

— Объясни, — потребовала она.

— Ты сносишь всё, что тебе дорого, и не замечаешь этого. Ты врываешься в жизнь, как океанская волна, и когда уходишь, оставляешь после себя мокрый песок и руины. Человек стоит среди этих руин и не понимает, как жить дальше.

— А разве я просила его стоять? Я никого не держу. Я не обещаю вечной любви. Я обещаю только сейчас. Этот момент. Эту ночь. Разве этого мало?

— Мало, — он покачал головой. — Люди хотят будущего. А ты живёшь только настоящим. В этом твоя гениальность — и твоё проклятие.

— Скука — вот единственный грех, который я признаю. Всё остальное — добродетели, просто люди слишком трусливы, чтобы это понять.

Однажды, в период особенно бурного романа с женатым дипломатом, она поспорила с подругой. Они сидели в гримёрной после спектакля, и подруга, разливая шампанское, бросила неосторожно

— Ты говоришь, что любишь его. Но ты никого не любишь по-настоящему. Ты просто играешь любовь.

Зинаида побледнела.

— Ты думаешь, я играю? — спросила она шёпотом, и в этом шёпоте было больше угрозы, чем в любом крике.

— Я думаю, что ты не знаешь разницы между сценой и жизнью.

— Хочешь, я докажу тебе? — Зинаида открыла ящик гримёрного столика и достала бритвенное лезвие. — Хочешь, я покажу тебе, что такое настоящая любовь?

Подруга закричала, попыталась выхватить лезвие, но Зинаида уже полоснула себя по запястью — не глубоко, но достаточно, чтобы кровь залила кружевную салфетку. В гримёрную ворвался дипломат. Он рыдал, вызывал скорую, трясущимися руками перевязывал ей руку, целовал пальцы, просил прощения неизвестно за что, а она смеялась — громко, победно, безумно.

— Ну теперь-то ты веришь? Вот это — любовь! Всё остальное — просто слова!

Шрам остался на всю жизнь — тонкий, белый, как ниточка. Иногда она смотрела на него и качала головой: не от стыда, а от удивления перед той, прежней собой.

Муж появился внезапно — из тех, кто не падал на колени, а смотрел прямо и говорил мало. Его звали Виктор. Он был художником — из настоящих, одержимых, тех, что неделями не выходят из мастерской. Они познакомились на вернисаже, где она, уже пьяная и окружённая свитой поклонников, громко критиковала чью-то работу. Он подошёл, взял её за плечи и сказал:

— Замолчи. Ты ничего не понимаешь в живописи.

Она остолбенела — никто никогда не смел так с ней говорить.

— Что ты сказал?

— Ты глухая? Я сказал: замолчи. Ты несёшь чушь. Эта работа — лучшая на выставке, а ты поливаешь её грязью только потому, что автор не падает перед тобой на колени, как все эти. Ты привыкла, что мир вращается вокруг тебя, но здесь, в живописи, ты никто. Понимаешь? Ни-кто.

Она расхохоталась. Запрокинула голову и засмеялась так, что люди вокруг обернулись. Потом заглянула в его глаза — тёмные, глубокие, без тени подобострастия, — и пропала.

— Как тебя зовут?

— Виктор

— А меня — Зинаида. Но ты, наверное, уже знаешь

— Знаю. Ты — та самая актриса, которая орёт на сцене, а потом орёт в жизни. Я видел тебя в «Федре». Ты была хороша. Но в живописи ты всё равно ничего не понимаешь.

— Тогда научи меня, — она взяла его под руку. — Прямо сейчас. Поехали ко мне. У меня есть коньяк и пустые стены. Будешь объяснять, что такое настоящая живопись.

Их страсть была разрушительной. Они пили вместе, говорили ночами о вечном, ссорились так, что соседи вызывали милицию, и мирились на рассвете, на полу, среди осколков. Он ревновал её к каждому партнёру по сцене. Она бесилась и кричала.

— Ты не можешь запереть меня в клетку! Я актриса! Я должна гореть! Если ты запрешь меня, я умру!

— А если я не запрю тебя, ты убьёшь нас обоих! — кричал он в ответ, уворачиваясь от летящей туфли. — Ты не женщина, ты — пожар! Ты сжигаешь всё, что тебе дорого! Ты хоть раз думала о том, каково мне — сидеть и ждать, пока ты там, на сцене, целуешься с очередным партнёром, а потом возвращаешься под утро и врешь, что была на репетиции?

— Я не вру! Я никогда не врала тебе! Я говорила: я такая. Я не меняюсь. Ты знал, на что шёл!

— Знал, — он вдруг затих и опустился на стул. — Знал. Но думал, что смогу. Думал, что любовь что-то изменит. А она ничего не меняет. Ты как была стихией, так и осталась. И я тону в тебе, Зинаида. Тону уже который год.

Она подошла, опустила на колени, обхватила его руками.

— И я тону в тебе, дурак. Мы тонем вместе. Разве это не прекрасно?

Он молчал, гладил её по волосам и смотрел в стену, и в его глазах стояла такая тоска, что она, увидев её, вдруг испугалась — впервые за много лет.

Однажды она приехала к матери — в старую квартиру на Петроградской, где пахло лекарствами и выпечкой. Мать, сухонькая, строгая, сидела в кресле и вязала, не поднимая глаз.

— Мама, я выхожу замуж.

— За этого художника? — мать поджала губы.

— За этого.

— Он пьёт, ты пьёшь. Он бешеный, ты бешеная. Вы убьёте друг друга.

— Возможно, — Зинаида пожала плечами и закурила. — Но это лучше, чем скука. Я не хочу жить до ста лет. Я хочу сгореть к пятидесяти, но так, чтобы небо осветилось. Зачем мне твоё спокойное счастье? Что в нём? Уют? Тепло? Это для мещан, мама. А я — актриса. Я — сгусток нервов, обнажённый провод. Если меня заземлить, я умру. Понимаешь? Просто умру, как гаснет лампочка, когда выключают рубильник.

— Ты всегда была эгоисткой, — тихо сказала мать. — Ты думаешь только о себе, о своей сцене, о своей страсти. А о тех, кто тебя любит, ты думаешь?

— О тех, кто меня любит, пусть думают они сами. Я им не нянька.

А потом случилась та ночь.

Она помнила её фрагментами, как рваные клочки афиши на мокром асфальте. Они были в его мастерской — огромной, прокуренной, заставленной холстами. Он кричал — о её неверности, о её безумии, о том, что она погубит его.

— Ты спишь со всеми! — вены вздувались у него на шее. — Думаешь, я не знаю? Весь театр знает! Весь город знает! Я не могу больше! Не могу делить тебя с каждым, кто на тебя посмотрит!

— А я не просила тебя делить! Я не твоя собственность! Я актриса! Я должна быть свободной! Если ты не можешь это принять — уходи!

— Уйти? — он горько рассмеялся. — Ты думаешь, это так просто? Ты как наркотик, Зинаида. От тебя невозможно отказаться.

— Тогда терпи!

— Не хочу! Не могу!

Она помнила, как схватила вазу — тяжёлую, хрустальную, — кажется, чтобы запустить в стену, а может, в него? Помнила холод хрусталя в пальцах. Помнила его лицо — искажённое, чужое. А потом — провал. Чёрная дыра. Пустота.

Она очнулась на полу. Вокруг — осколки, лужа, которая при свете лампы отливала то ли красным, то ли янтарным. Он лежал рядом, и голова его была пробита. Её пальцы ещё помнили холод хрусталя. Но сам момент удара — тот миг, когда хрусталь встретился с костью, — исчез. Будто кто-то вырезал этот кадр ножницами и унёс с собой.

Суд был скорым и безжалостным.

— Подсудимая, вы признаёте свою вину? — спросил судья, глядя на неё поверх очков.

— Я не помню, — ответила она, и голос её, впервые за много лет, был тихим, почти детским. — Я не могла. Я любила его. Я не помню.

— Свидетели утверждают, что вы неоднократно угрожали потерпевшему, что вы были склонны к аффектам, к насилию, к неконтролируемым поступкам.

Прокурор поднялся и зачитал её слова, сказанные когда-то в интервью: «Ради роли я готова на всё. Даже на преступление». Она не помнила, говорила ли это, но теперь эти слова звучали приговором.

— Скажите, Зинаида Павловна, — судья наклонился вперёд, — если вы действительно не помните, что произошло, как вы можете утверждать, что невиновны? Разве незнание равно невиновности?

Она долго молчала, глядя на свои руки — те самые, что когда-то держали букеты, а теперь лежали на коленях, бледные и спокойные.

— Я не знаю, — сказала она наконец. — Я не знаю, равно ли незнание невиновности. Но я знаю, что если я это сделала — я должна ответить. А если не я — кто-то другой ходит по земле, а я сижу здесь вместо него. И что из этого страшнее, я не могу вам сказать.

Тюрьма встретила её серостью. Серые стены, серые лица, серое небо в зарешечённом окне. Первые месяцы она кричала по ночам. Выла, как раненый зверь, и сокамерницы шаркались от неё. Однажды к ней подошла старая цыганка, сидевшая за кражу, и сказала:

— Не кричи. Криком правду не вернёшь. Если бог закрыл тебе память — значит, так надо. Может, он тебя милует, а ты орёшь.

— Милует? — Зинаида подняла на неё опухшие глаза. — Меня? За что?

— За то, что любила сильно. За это тоже наказывают. Но и милуют тоже.

Потом она замолчала. Тишина стала её новой ролью, и она играла её так же самоотверженно, как прежде играла Федру. Иногда, стоя в очереди за баландой, она вдруг начинала беззвучно шевелить губами — повторяла монолог Анны Карениной, сцену перед смертью. Слова текли сквозь неё, как река, и на несколько минут она переставала быть заключённой.

— За что ты здесь? — спросила её однажды молодая сокамерница, девчонка лет двадцати.

— За любовь, — ответила Зинаида и усмехнулась. — За то, что слишком сильно любила. Или за то, что не умела любить иначе. Не знаю. Это одно и то же.

— А я за деньги. Думала, разбогатею. Дура была.

— Все мы дуры. Просто каждая по-своему.

Через двенадцать лет ворота открылись, и она вышла — старухой в сорок четыре года, с седыми прядями и глубокими морщинами у глаз. Сестра, единственная, кто не отвернулся, забрала её к себе.

— Ну вот, — сказала сестра, наливая чай на крошечной кухне, — ты и дома. Я нашла тебе работу, не пыльную. Полы мыть в одном офисе. Перекантуешься.

— Полы? — Зинаида горько усмехнулась. — Я мыла полы в тюрьме двенадцать лет.

— А что ты хотела? На сцену вернуться? С твоим-то сроком? Кто тебя возьмёт?

— Никто. Ты права. Давай свою тряпку.

Теперь она каждое утро приходила в офис первой. Проходила по пустым коридорам, вдыхая запах пыли и химии, и начинала свой ритуал. Швабра скользила по плитке, и в этом движении ей чудился отзвук былого — словно она снова танцует на сцене, только без музыки и без зрителей. Хлорка пахла тюрьмой, и каждый вдох напоминал о тех годах.

Иногда, оставшись одна, она подходила к окну и говорила со своим отражением.

— Кто я? Та, что играла Джульетту? Та, что сидела в бараке? Или та, что сейчас держит в руках ведро? Где та Зинаида, которую носили на руках? Она умерла? Или спряталась так глубоко, что я сама не могу её найти?

Отражение молчало. Но где-то там, за слоями усталости, за сеткой морщин, ещё мерцал тот самый огонь — притушенный, но не погасший.

Однажды вечером она сидела на кухне с сестрой, и та спросила:

— Ты опять об этом думаешь?

— Каждую ночь. Если я не помню, значит ли это, что я не виновата? Или, наоборот, виновата вдвойне: и в убийстве, и в том, что струсилась вспомнить?

— Не мучай себя. Что было, то было. Ты отсидела. Теперь живи.

— Я не умею «просто жить». Я умею только играть. А эту роль мне никто не написал. Импровизирую.

В офисе с ней почти не заговаривали — и она была благодарна за это. Только однажды Вероника Аркадьевна, проходя мимо с кружкой-матроской, чуть замедлила шаг. Их глаза встретились — и вдруг Зинаида почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Не было сказано ни слова. Вероника не спросила «кто вы?», а Зинаида не ответила «я была актрисой». Но в этом обмене взглядами, длившемся не дольше трёх ударов сердца, проскочило странное, почти неуловимое узнавание — так узнают друг друга люди, прошедшие через потерю. Одна потеряла мужа и сцену; другая потеряла мужа и чашку, из которой он пил. Ни одна не стала счастливее от того, что выжила.

Вероника чуть заметно кивнула — не как начальница уборщице, а как одна женщина другой, — и прошла дальше. Зинаида осталась стоять со шваброй в руках, глядя ей вслед.

Впервые за много лет ей показалось, что кто-то её увидел — не актрису, не преступницу, не уборщицу, а просто человека за всеми этими ролями.

Вечером она подошла к зеркалу в прихожей — маленькому, мутному, — и долго вглядывалась в своё лицо. Морщины у глаз, седые пряди, тонкий белый шрам на запястье. Она подняла руку и коснулась пальцами стекла, оставляя след.

— Ну вот, — сказала она тихо. — Ещё одна роль. Может быть, последняя. Может быть, самая честная.

И в этом шёпоте, в этой тихой, почти неслышной интонации, прозвучало что-то похожее на прощение — не от мира, не от закона, а от самой себя. Впервые за тридцать лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.